

ДМИТРИЙ ШУШАРИН

Социальный либерализм как идентификационно- коммуникативная проблема

Бессубъектность

Социальный либерализм как технология, пожалуй, впервые проявился в США после кризиса конца двадцатых годов прошлого века:

Критическими, например, принято считать президентские выборы 1932 г. Им предшествовал глубокий экономический кризис, бросивший вызов двухпартийной системе США. Этот вызов был принят Демократической партией и ее лидером Ф. Д. Руз-

вельтом, решительно отвергшими многие традиционные для Америки экономические, социальные и политические постулаты. Кейнсианская программа экономического регулирования и социальные реформы обеспечили демократам поддержку рабочего класса и его организаций, а также расово-этнических меньшинств и значительной части городских и сельских средних слоев. Это была новая коалиция избирателей – сторонников социального либерализма, соединившего в себе индивидуалистические и коллективистские ценности. Социально-либеральная коалиция сохранялась до 1960-х годов, когда многие либералы стали переходить на консервативные позиции (В. Согрин).

То был практический электоральный опыт социального либерализма. Иной была посттоталитарная западногерманская модель, реализованная в условиях оккупационного режима и ограниченного суверенитета. Ее автор Людвиг Эрхард говорил, что его учитель Франц Оппенгеймер называл свое учение либеральным социализмом. А Эрхард, по его собственным словам, поменял местами прилагательное и существительное и показал «не сентиментальный, а реалистический путь».

Это чрезвычайно важная характеристика – социальный либерализм есть осуществленная на практике модель (технология), а не только концепт, теоретическое построение. И прежде всего, это технология возвращения личности, обществу и государству субъектности, совместное преодоление власти безличных и надличностных обстоятельств, бессилия перед социальной и политической стихией.

Подобное состояние повседневности, не сопряженной с социальными катастрофами, еще в предтоталитарную эпоху было описано Чеховым:

И сильный, и слабый одинаково падают жертвой своих взаимных отношений, невольно покоряясь какой-то направляющей силе, неизвестной, стоящей вне жизни, посторонней человеку.

Это и есть состояние всеобщей бессубъектности, в котором ныне находится и российский социум. Отчасти об этом, рассуждая о миссии социального либерализма, говорит и Борис Капустин в интервью, которое опубликовано в этом номере журнала:

Наверное, судьбы социал-либерализма в России можно описать в контексте трудностей выявления какой-либо политической субъектности в условиях постмодернизированного общества вообще.

Применительно к современной России термин «постмодернизированный» мне представляется не вполне уместным. Впрочем, это обычная гуманитарная разногласия: и в немодернизированном обществе может быть постмодернистское состояние умов. Разумеется, исторический опыт уникален и непереносим в другие эпохи и страны. Ныне в России мы рассматриваем вопрос *о преодолении тоталитарного наследия в условиях его частичной реставрации*. Сейчас мы наблюдаем возвращение к тоталитарным принципам отношений в триаде «личность – общество – государство».

С одной стороны, личность для нынешней власти вторична по отношению к государству, а с другой, государство порождает патерналистские ожидания, сулит имущественное выравнивание и социальную справедливость, но лишь для тех, кто отказывается от гражданской самостоятельности и рав-

ноправного диалога с властью. Таковы признаки лояльности, которая призвана подменить гражданственность. И таковы признаки политики, которую можно было бы назвать посттоталитарным популизмом, если бы применительно к российской власти было бы возможным употребление идеологических клише. Дело в том, что корректность любого клиширования ныне под большим вопросом.

Основное противоречие развития России — противоречие, которое становится все более очевидным, — это параллельное развитие свободных общественных объединений, свободной экономики, свободных людей и тех институтов, которые так и не изменили свою природу после 1991 года (армия, милиция, госбезопасность, ВПК, ведомства, претендующие на функции госплана).

Нынешнюю власть принято уже именовать милитократией, властью силовиков. Как и все политические клише, «силовики» — это отчасти легенда, но легенда, социологически верифицируемая. Наибольший интерес в этом отношении представляют работы Ольги Крыштановской, автора исследования «Анатомия российской элиты», сделавшей, в частности, такой вывод:

Общеизвестно, что менеджмент «Росвооружения», «Газпрома», «Роснефти» в значительной степени представлен силовиками. Недавно созданные государственные РАО «Российские железные дороги» и «Российские коммунальные системы» тоже получили хорошую подпитку из людей в погонах... 2003 год — своеобразный рубеж, когда произошел разрыв связей между ставленниками КГБ-ФСБ в независимом бизнесе и их коллегами, работающими ныне в государственном управлении или государственных бизнес-структурах. Вопрос поставлен ребром: с кем ты? С олигархами и буржуями? Тогда ты предатель.

Для тех, кто считает себя оставшимся на службе, офицеры, ушедшие в олигархические структуры, теперь в лучшем случае отрезанный ломоть, в худшем — идеологические враги.

Настроения в среде государственников в погонах сегодня реваншистские. Политический реванш требует классовой самоидентификации и классовой ненависти. Как во время гражданской войны. Весь свободный бизнес объявлен классовым врагом нынешней военной бюрократии (*Новая газета*, 4 декабря 2003).

Уже сейчас очевидно, что успехи силовиков ведут к снижению уровня управления экономикой. Это стало ясно на примере новых губернаторов из генералов.

Военные, которые пришли командовать регионами, тоже «обогатили» российскую историю. Офицер во власти, который замечательно разбирается в хозяйственных делах и окружает себя высокопрофессиональными консультантами и заместителями, — скорее исключение из общего правила. Люди, которые всю жизнь отдавали или исполняли приказы, не годятся для экономически сложных регионов. Невозможно построить всех жителей по ранжиру и железной рукой загнать их в «экономическое чудо». В регионах не окрик нужен, а творческое мышление и умение находить нестандартные ходы. Оттого социально-экономическое положение, например в Воронежской области, где губернаторствует бывший начальник областного УФСБ Владимир Кулаков, осталось практически на прежнем депрессивном уровне. Не лучше дела обстоят и у его коллеги: известного всей стране по чеченской кампании армейского генерала Владимира Шаманова, губернатора Ульяновской области, а также у генерала ФСБ Виктора Маслова, возглавляющего Смоленскую область (О. Крыштановская, там же).

В дальнейших публикациях Ольга Крыштановская вела речь о том, насколько разрушительно, по ее мнению, влияние силовиков на общество:

Народ превращается в стадо, которым можно управлять, как угодно. Это серьезная болезнь. Она называется аномия общества. Если бы государство поняло, что нам нужна не национальная идея, а новая социальная матрица, оно поставило бы перед учеными задачу ее создания. Здесь нет ничего невозможного. Сейчас нужно предложить людям новые параметры для идентификации. Главное, чтобы государство осознало, что общество очень нездорово.

И вина нашей власти в том, что она плохо объясняет людям, что с нами произошло и куда мы идем. Сегодня мы можем наблюдать, как отсутствие слов воздействует на все происходящее довольно страшным образом (О. Крыштановская, *Независимая газета*. 25 августа 2004).

В рассуждениях исследовательницы есть некоторые противоречия, точнее сказать, непоследовательность. Предъявлять власти, использующей аномию общества, требование артикулирования общественно-значимых задач, по меньшей мере нелогично. Это подразумевает то, что власть здорова, между тем и у нее аномия. Мы имеем дело не только с тем, что за индивидуумом и обществом не признается субъектность, но и с тем, что сама власть бессубъектна. Да, социум продолжает оставаться атомизированным, лишенным солидарности и даже потребности в солидарности. Свобода обретена, но не востребована. Но власть тоже атомизирована. И те 77 процентов выходцев из силовых структур, которые насчитаны Ольгой Крыштановской в новой российской номенклатуре, — это вовсе не правящий монолит.

Никакому идеологическому клишированию нынешняя российская власть не поддается: это не милитократия, а, если использовать термин Андрея Фурсова, кратократия. Из ее отличительных черт можно выделить трайбализм, пассаизм и централизм.

Трайбализм — это более адекватный термин для обозначения милитократии, тех 77 процентов, о которых говорят социологи. Он отсылает нас к параллелям с посттрадиционными режимами в странах, находящихся вне иудео-христианской цивилизации. Под пассаизмом следует понимать не только явную рецепцию советского наследия в политической и массовой культуре (возвращение советского гимна, посмертное холуйство перед Сталиным, восхваление Брежнева и Андропова, ностальгию по величию СССР, официально заявленную после Беслана), но и ориентацию на устаревшие авторитарные модели семидесятых годов прошлого века.

Реальное значение своих действий Путин даже не пытается скрывать — он насаждает диктатуру простым старым способом, опробованным еще Фердинандом Марксом Анастасио Сомосой и Пак Чон Хи (Роберт Кэйган, *The Washington Post*, 16 сентября 2004).

Централизм же означает процветание узкой группы лиц, сконцентрированных в Москве, за счет стагнации всей страны, а также свертывание не только региональной, но и национальной самостоятельности:

Во-первых, Москва — теплое местечко для паразитирующей политической элиты, которая отождествляет интересы России со своими собственными интересами. Подчинение огромной страны с 11 часовыми поясами решениям, процесс принятия ко-

торых полностью находится в руках далеких московских чиновников, — это формула, к которой инстинктивно склоняются паразиты.

Монополистическая власть московской элиты душит инициативу на местах и не дает различным регионам России использовать свои собственные таланты и ресурсы.

Это не случайность, что при Сталине, так же как и в последние годы, Москва была и остается привилегированным бенефициаром плодов модернизации и развития. В отличие от Москвы, другие города продолжают биться в стагнации, а российская деревня по-прежнему напоминает времена Толстого. До сего дня большая часть всех иностранных инвестиций поглощается одной Москвой (или перерабатывается для отправки за границу), в то время как во многих других городах (к примеру, Владивосток) даже рудиментарные услуги — строительство, здравоохранение и проч. — остаются на примитивном уровне.

Во-вторых, пиявочный и эгоцентричный тип мышления московской политической элиты душит политическую демократизацию. Шаг Путина популярен среди этой элиты, потому что он отвечает ее интересам. Властная элита до сих пор испытывает ностальгию по великодержавному статусу, она до сих пор идентифицирует собственное процветание с доминированием над всей Россией и через Россию — по крайней мере над бывшими государствами Советского Союза. Для этой властной элиты независимость Украины, Грузии или Узбекистана — это историческое оскорбление. Для нее сопротивление чеченцев господству России — это «террористическое» преступление. Для нее автономия для 20 миллионов этнически нерусских граждан — это конкуренция с их собственными привилегиями (Збигнев Бжезинский, *The Wall Street Journal*, 21 сентября 2004).

Из всего этого следует, по меньшей мере, два вывода. Первый. Безыдеологичной, бесценностной и бессубъектной власти любая идеология и система ценностей может быть безразлична. Но только до очевидного предела — пока не начинает преодолеваться бессубъектное состояние вне власти находящихся лиц и структур. Это второй вывод.

В сегодняшней России, погруженной в хаос, пассивно и бессмысленно реагирующей на мощные внешние воздействия, субъектность напрочь отсутствует, — в правительстве, в Генштабе, в большинстве политических партий, где все погружены в сиюминутное, дробное, второстепенное, вне стратегии и мировоззрения, в непонимании мира и места в нем России.

Зачатки субъектности, а значит, зачатки национальной стратегии, мы начинаем наблюдать в крупных корпорациях, наподобие ЮКОСа, чья деятельность невозможна без плана, суперорганизации, понимания своего места среди громадных мировых конгломератов (Александр Проханов, *Завтра*, 17 сентября 2003 года).

Это, разумеется, цитата из апологетического текста, но при этом самое точное за последнее время определение того, как в конфликте с одной компанией проявилось главное противоречие в отношениях меж властью и обществом. Разумеется, за атакой на ЮКОС стояли экономические потребности властного клана. Но не только. Это еще и борьба против современного уровня менеджмента, начавшаяся еще с разгона НТВ, против тех принципов управления, которые основаны на признании субъектности индивидуума и корпорации.

Успех — а он очевиден, и это следует признать — борьбы бессубъектной власти с персональной и общественной субъектностью показывает бессилие *любых* идеологических клише в современной России. И все же мы обращаемся к опыту социального либерализма, поскольку он представляет собой нечто

большее, чем набор лозунгов, поскольку он проявил свою технологичность в посткризисные (США) и посткатастрофические (Западная Германия) периоды истории.

Бытование термина в современной России

Термин «*социальный либерализм*» настораживает человека, знакомого с российским и мировым политическим контекстом. Еще в 1995 году партия «Наш дом — Россия» поразила умы соотечественников, объявив своей идеологией «государственный социальный либерализм». Совсем недавно брэнд «социальный либерализм» пытались освоить представители «Яблока» (Сергей Митрохин) и одного из социал-демократических образований (Константин Титов). Замечены в этом были и Виктор Похмелкин, и Михаил Горбачев с Александром Яковлевым. Приверженность социальному либерализму аналитики обнаруживают у Тони Блэра и Арнольда Шварценеггера, у германских социал-демократов и французских радикалов. Социальный либерализм декларируется в качестве политической программы различными партиями и политиками на территории бывшего СССР — в Армении, Латвии, Молдове, Украине.

Однако в России ни демагогически, ни технологически социальный либерализм успеха пока не имел.

В российском политическом и экспертном сообществах сложилось свое толкование понятия «социальный либерализм». Важнейшей его чертой является противопоставление либерализму реформаторов начала девяностых годов. Причины их неудач определены достаточно полно:

Конечно же, по политическим убеждениям Гайдар и его друзья несокрушимые демократы, но в демократические идеологи и лидеры они не годились. Технократы не стремятся завоевать поддержку в обществе, объяснить людям, почему нельзя обойтись без тех или других болезненных мер, да и публичный дискурс они умеют вести только на своем профессиональном языке. Можно предположить, что социальные последствия рыночных реформ не могли быть в России существенно иными, чем они были. Но их политические и психологические последствия, возможно, были бы не столь тяжелыми, если бы власть попыталась вовлечь людей в дело реформ (Герман Дилигенский).

Либерализм реформаторов свелся к негативным лозунгам — ограничению вмешательства государства в экономику. И был подменен социальным дарвинизмом. Не делалось даже попыток преодолеть главное наследие тоталитаризма — атомизацию общества, которую невозможно заменить или компенсировать консолидацией вокруг власти. И уж совершенно очевидно, что реформаторы либо не знали, либо не поняли предостережения Макса Вебера, сделанного им в «Предварительных замечаниях» к «Протестантской этике»:

Безудержная алчность в делах наживы ни в коей мере не тождественна капитализму, и еще менее того его духу. Капитализм может быть даже идентичным обузданию этого иррационального стремления, во всяком случае, его рациональному регламентированию.

Простейшим, в противовес реформатором гайдаровского призыва, толкованием социального либерализма следует признать сведение его исключительно к *усилению роли государства* в социально-экономических отношениях:

В процессе своей идейной эволюции европейские либералы пришли к новой системе взглядов, которую в научной литературе принято называть *социальным либерализмом*. Смысл этой системы состоит в следующем. Построение свободного общества немислимо без участия государства, обеспечивающего перераспределение части общественного продукта в пользу слабых (Сергей Митрохин).

В сознании россиян уже произошел синтез разнородных либеральных и «государственнических» идей. Результат этого синтеза на общественно-политическом поле можно окрестить *«социальным» либерализмом*: он дополняет либеральные идеалы личной свободы признанием необходимости социальной ответственности и важности минимально необходимого государственного регулирования как стержня рыночных отношений (Михаил Делягин).

К подобной терминологии прибегают и так называемые правые, не желающие уходить с политической арены после поражения на выборах в декабре 2003 года:

Люди хотят, чтобы у них были возможности. И если эти возможности отсутствуют в силу объективных условий: возраста, инвалидности, многодетности или бюджетной зарплаты — то государство должно сделать их равными по отношению к тем, кто на рынке. Это называется социальный либерализм. Я считаю, что в этом плане мы должны создать более левую программу (Ирина Хакамада, *Независимая газета*, 25 августа 2004).

Подобная трактовка может быть названа этатистской. Ее важнейшей особенностью является то, что государство рассматривается не конкретно, не применительно к «здесь и сейчас», а как некая абстракция.

Присутствует и иная, отличная от этатистской, точка зрения.

В отличие от «экономического либерализма» *«социальный либерализм»*, напротив, делает акцент на человеке и обществе. Его кредо — развитие человеческой индивидуальности, равенство возможностей, обеспечение необходимых общественных благ (Эдуард Днепров).

Актуальность концепта социального либерализма для современной России признается и политтехнологами, близкими к КПРФ:

Сегодняшний разговор про «социальный либерализм» — иллюстрация процесса поиска идеологии (а она должна быть левой по сути, чтобы быть популярной в народе) правыми (Илья Пономарев).

Наряду с термином «социальный либерализм» используется также термин «левый либерализм», рассматриваемый часто как синоним первого. У политологов, претендующих на роль идеологов правого либерализма, к либерализму левому отношение спокойное, но несколько высокомерное:

Если посмотреть на «Яблоко» сквозь западные очки, то можно сказать, что это — левые либералы. Они — не социал-демократы, как иногда говорят их оппоненты для того, чтобы откинуть сторонников Явлинского совсем влево. Они — левые либералы. Беда только в том, что левый либерализм в качестве серьезной силы может существовать — как и социал-демократия, кстати, — только в уже развитой либеральной политической системе западного типа. В нашей ситуации, когда на социальный конфликт накладывается цивилизационный, положение сторонников этой идеологии оказывается довольно неопределенным, поскольку качественное отличие левых ли-

бералов от правых, т.е. леволиберальных западников от западников праволиберальных, широкий избиратель еще не в состоянии уловить (Алексей Кара-Мурза).

В этом рассуждении присутствует весьма существенное признание — левый либерализм есть атрибут развитого демократического общества. Не вступая в спор с этим тезисом, следует все-таки признать, что продвижение концепта социального либерализма возможно пока в узком элитарном кругу *московской и региональной интеллектуальной элиты*.

Такого рода характеристику в России издавна приходится считать уничтожительной. Однако в ней нет ничего дурного: ежели идея не овладевает массами, то это никак идею не характеризует. Да и не был никогда и нигде социальный либерализм *идеологически* массовым, что вовсе не делало его менее технологичным. Ибо социальный либерализм подразумевал и подразумевает консенсус не относительно идейных клише, а относительно форм жизни и принципов отношений меж индивидуумом, обществом и государством. В этом и заключается его технологичность.

Идентификация

Можно сколь угодно долго перечислять благие пожелания власти и обществу, именуя их социально-либеральными. Но при этом они как таковые в общественном сознании не маркируются и не вызывают возражений у людей, позиционирующих себя в качестве консерваторов, националистов или социал-демократов. В сущности, все политические силы совпадают в своих программах процентов на восемьдесят, давно уже сложился набор заклинаний и клише, без которых не обходятся ни политики, ни политологи.

Российские либералы, похоже, повторили ошибку эпохи Просвещения, деятели которого исходили из того, что если люди узнают, если им будет рационально доказано, как хорошо быть умным, как хорошо быть богатым, как хорошо быть свободным, как хорошо, когда власти разделены, то сразу настанет всеобщее благоденствие. Вместо этого, как известно, появилась гильотина.

Я позволю себе вернуться к собственным заметкам, опубликованным в недавнем номере «Логоса» (№2, 2004). Там упоминался опубликованный ранее перевод из «The Democratic Paradox» Шанталь Муфф, где речь шла о наследии Витгенштейна, о «витгенштейнианской перспективе» как альтернативе рационалистическому подходу к обоснованию либерально-демократической теории, к консолидации и усилению демократических институтов. Среди прочего отмечалось, что демократические ценности нельзя создать, выдвигая рациональные доводы и делая заявления о превосходстве либеральной демократии, выходящие за рамки конкретного контекста. Что создание демократических форм индивидуальности — это вопрос идентификации с демократическими ценностями.

Поэтому любые рассуждения на либеральные темы следует, на мой взгляд, повернуть в сторону, скажем так, нелинейной логики и, если прибегнуть к телевизионному языку, нелинейного монтажа смыслов. Человек должен идентифицировать себя с какими-то ценностями. И в этом отношении, безуслов-

но, социальный либерализм, как и любая другая демократическая система ценностей, для России остается пока чем-то лежащим вне личности. И главный вопрос — к чему может привести дальнейшее коммуникативное развитие общества в самом широком смысле? И каким образом проблемы социального либерализма будут решаться на коммуникативном и идентификационном уровнях? И решаемы ли они вообще? Это острейшие вопросы, действительно нелинейного, качественного развития. Это то, что называется проникновением либерализма, либерального взгляда на жизнь в структуры повседневности, если выразиться языком французской социальной истории прошлого века.

Я хочу напомнить слова Андрея Белого, применимые к любой эпохе рубежа. Он вспоминал начало прошлого века как время, когда «идеология имела не первенствующее значение; стиль мироощущения доминировал над абстрактною догмой». Так вот социальный либерализм есть некий стиль мироощущения, не сводимый к набору вербальных идеологических постулатов, которые именно в рубежные эпохи становятся не так важны, как некая цельность восприятия и цельность понимания того, как дальше жить, что хорошо, и что плохо. Именно подобная цельность восприятия и цельность понимания и лежала в основе социально-либерального консенсуса в США тридцатых и в ФРГ сороковых-пятидесятых годов прошлого века.

И поэтому социальный либерализм не может рассматриваться как совокупность нескольких идеологических тезисов, принципов, которые должны внедряться в общество извне. *Создание либеральных форм индивидуальности — это вопрос идентификации с либеральными ценностями.* Эти ценности, являясь стержнем личности, сами формируют личность и ее самосознание, образуя, в свою очередь, некие модели социального поведения и набор социальных требований, в основе которых лежит понимание того, что гарантией индивидуальной свободы и самого существования личности должна быть *свобода каждого гражданина.* С этого и начинается либеральная самоидентификация.

Переход в развитии общественных настроений от социал-дарвинизма к социально-либерализму — это понимание того, что *личная свобода нуждается в общественных гарантиях.* Не только в государственных, конституционных, властных, но и в гарантиях, достигнутых в результате *общественной конвенции.* Граждан между собой и граждан с властью.

Коммуникация

Существенной чертой российской общественной жизни является то, что так называемые объективные социальные характеристики плохо коррелируют с тем, что принято называть общественной позицией. Что вполне естественно для бессубъектного общества. В России существуют люди, которые могут быть названы *стихийными либералами*, а набор (не система) их взглядов *стихийным либерализмом.* За прошедшие годы они усвоили принцип опоры на собственные силы, сформировали общественные отношения эпохи раннего рынка и социального дарвинизма. Они весьма различны по своим имущественным, образовательным, даже мировоззренческим характеристикам, но объединяет их необходимость некоторой внутренней самоор-

ганизации, преодоления социального одиночества, формирования такой системы ценностей, в которой существовали бы общепризнанные критерии успеха, общественной значимости их достижений, понимание взаимной ответственности как власти, так и общества.

В современной России можно найти сколь угодно много потенциальных носителей социального либерализма. Первое, что приходит в голову — это те социальные группы, которые связаны с производством интеллектуальных продуктов. Прежде всего, это часть элиты, претендующая на роль нового интеллектуального класса, разрабатывающего стратегические общественные решения. Но этот новый интеллектуальный класс ценностно индифферентен, замкнут на себе и, как ему кажется, на обслуживании власти. И при этом совершенно не озабочен своей общественной востребованностью.

Другой потенциальный резерв социального либерализма — так называемая новая экономика, порожденная новейшими информационными технологиями. Но эти технологии сами по себе не несут никакой общественно-ценностной нагрузки и с равным успехом могут служить и демократии, и тоталитаризму. Далеко не демократические и не либеральные страны Юго-Восточной Азии одними из первых совершили технологические революции. Так что прямой связи между «новой экономикой» и либеральными ценностями нет. Более того, во всем мире давно уже обсуждается проблема высокотехнологичного тотального контроля над личностью, актуальна эта проблема и для России.

Проводниками социального либерализма могут быть люди *в исполнительной власти* и при ней, которые *заниманы разработкой важнейших реформ*. Но они принимают аппаратные правила поведения и во многом повторяют технологические ошибки гайдаровского правительства, оставаясь ограниченно публичными политиками и участвуя в столь одиозных действиях власти, как, например, захват ЮКОСа.

А с другой стороны, либеральные элементы проявляются в публикациях и в выступлениях некоторых олигархов. Далеко не все из них собираются мириться с тем, что им отведена роль *public enemy*. Речь не идет об известном письме Михаила Ходорковского из тюрьмы — рассматривать этот документ, учитывая обстоятельства его появления, вообще некорректно. Гораздо интереснее та фразеология, к которой прибег Олег Дерипаска:

Бороться надо не с бедностью вообще, а решать конкретную задачу формирования условий, обеспечивающих людям равные возможности. Основным ориентиром для решения этой задачи должна стать социальная модернизация нашего общества. Это и есть путь к улучшению качества человеческого капитала.

Сформировав систему равной реализации прав с помощью государства и негосударственных институтов (частных фондов и т.п.), которая обеспечит возможность подъема вверх по социальной лестнице высокомотивированным активным людям, проводникам прогресса во всех отношениях, мы тем самым обеспечим основу долгосрочного, поступательного развития нашей страны.

И далее под знаменем борьбы с бедностью сегодня все чаще апеллируют к результатам приватизации начала 90-х годов, скомпрометированным волной фактически бесплатной раздачи имущества. Наверх начинают рваться совсем оголтелые люди, единственное устремление которых — передел (*Независимая газета*, 19 февраля 2004).

Так что никаких четких социальных границ для возможных приверженцев социального либерализма нет. И это вполне естественно — носителем социально-либеральной идентификации, должен быть прежде всего индивидуум. И он же является главным субъектом коммуникации в современном обществе. И именно объединившимся индивидуумам предстоит выработать *«постиндустриальную протестную культуру»* (Андрей Колесников). Другое дело, что нахождение в определенной социальной среде может этому способствовать или же, напротив, отвращать от подобных действий.

Если же говорить о двух главных социальных субъектах коммуникации, которым, собственно, и предстоит выработать социально-либеральный конвенционализм, то это та часть общества и та часть элиты, которые находятся ныне под угрозой.

Элита приближается к точке самоопределения, к точке невозвращения, после которой страна не сможет легко и просто восстановить цивилизованное состояние. Террористическая волна 2004 года показала то, что тоталитарная, неререформированная часть государственного аппарата неспособна к выполнению жизнеобеспечивающих задач. Более того, терроризм служит лишь поводом для строительства саморазрушающейся вертикали власти. И не будет преувеличением сказать, что терроризм превращается в главный, если не единственный, источник легитимности этой власти. Уже ясно, что ее успех будет означать перемену участи значительной части элиты, изменение ее образа и уровня жизни.

Что же касается общества, то примитивизация общественного устройства и неспособность власти создать даже иллюзию управляемости лишают его законных и мирных способов разрешения конфликтов. Реальностью становится *bellum omnia contra omnes*, в которой, если вновь вспомнить приводившиеся слова Чехова, положение сильного ничем не лучше положения слабого.

И потому самоопределение — как ни печально это прозвучит — означает уже не выбор между властью и оппозицией, а выбор будущего, посткатастрофического развития страны. И вполне возможно, что сейчас социально-либеральные построения подобны тому, чем занимался Людвиг Эрхард в 1936 году. Тогда, став частным лицом, он написал работу, по его собственным словам, *«с изложением экономических и финансовых мер, которые необходимо было принять после наступления краха»*.

Вопрос состоит в том, удастся ли преодолеть разобщенность возможных носителей и проводников социального либерализма, возникнет ли необходимый медиа-аппарат, коммуникационная среда для их взаимодействия.

Реальные же изменения могут начаться лишь с достижения прочных коммуникаций меж разумной частью политического класса и ответственной частью общества. То есть должно произойти нечто подобное тому, что в новейшей российской истории длилось всего три дня в августе 1991 года.

Мы еще живем в том же времени, в котором было ГКЧП и сопротивление ему. Страна все еще развивается в тех же противоречиях, что и тринадцать лет тому назад. В других, совсем других условиях тянется все тот же конфликт. Уже тогда, сразу после краха ГКЧП, говорилось о том, что то был бунт опоздавших, попытка реванша той части совковой номенклатуры, ко-

торая не сумела приспособиться к рыночным условиям. Качественно, существенно то же самое, но на другом уровне и в других масштабах происходит и сейчас.

Две силы оказали тогда сопротивление ГКЧП. И более ни разу они не соединялись. Первая — это те, кто вышел на защиту Белого дома и на работу в редакции закрытых газет. Вторая — это та часть элиты, в жизненные планы которой не входила жизнь под властью советского отстоя. Эти люди на улицу не выходили, но они просто не отдали ГКЧП контроль над страной.

В некоторых точках эти социальные общности пересекались: самый яркий, но не единственный пример — это журналистский топ-менеджмент и новые политики, делавшие карьеру в новых властных институтах РСФСР.

И потому самое время вспомнить главный урок августа 91-го — тот самый временный, на несколько дней, но все-таки союз общества и части политической элиты. Дело за малым — в их способности вступить в коммуникацию и достичь согласия.